

*Ах, какая стоит тишина!  
Мир окутал таинственный сон.  
Бледным диском нависла луна.  
Но откуда тогда этот звон?*

*Еле слышен, он льётся с небес—  
Колокольцев серебряный звук,  
Заполняя собой всё окрест—  
И притихшее поле, и луг.*

*Кольбельную небо поёт,  
Погружая в дремоту и сон  
Землю грешную. Пусть отдохнёт  
Под мелодию вечных времён...  
Светлана Селиванова*

## Глава 1

*Воришки. Побег из детдома. 1954 год*

Лёха торопливо спрятал зачоченевшие руки в карманы телогрейки—старой, с ключьями грязной ваты, торчавшими из дыр,—и, постукивая для согрева один о другой огромными валенками, подшитыми резиной, мотнул головой в сторону столовой:— Глянь! Вон Яшкин «Студер». Говорил же, сёдни в район рванёт. За товарами в магазин.

Мишка, в таком же рваном ватнике и в картузе со сломанным козырьком, натянутом на уши, недоверчиво посмотрел на приятеля.— Яшка за копейку удавится! Ни в жисть не поведёт задаром! Ещё и легавым сдаст...

Лёха шмыгнул носом и надвинул ниже солдатскую шапку с давно оторванным в драке ухом. Оба пацана выглядели лет на десять, хотя и тому, и другому недавно исполнилось тринадцать. Худые, кожа да кости, с бледными до синевы лицами, они напоминали шелудивых щенков с помойки. Ещё три недели назад они числились воспитанниками детдома, где их били за малейшую провинность, а за крупную запирали в карцер с ледяным полом и мокрыми стенами, покрытыми жирной плесенью. Но и это можно было бы вытерпеть ради крыши над головой и скудной казённой кормёжки. Особенно посреди зимы, когда детдомовский народ оставлял мечты о свободе до весны. Куда бежать в лютую стужу, если кругом на сотни километров сытая тайга и снега, в которых тонешь с головой?

Но Лёха с Мишкой сбежали, не успев прихватить котомку с сухарями, которую стянули из чулана директорского дома. Из-за этой котомки и разгорелся весь сыр-бор. Сначала ребята получили по паре подзатыльников от кухарки директора, затем за них взялся детдомовский физрук. Иван Дмитриевич потерял на войне правую руку, но одной левой отходил мальчишек ивовым прутом по тощим спинам так, что кожа лопнула и в штанах стало мокро. Только Лёха и Мишка и после расправы не признались в воровстве, потому что хорошо представляли последствия: колония для малолетних, или «малолетка», как называли её ребята постарше.

Котомку они спрятали надёжно, поэтому решили держаться до последнего, хотя о жестоких нравах «малолетки» знали пока понаслышке. Воспитатели частенько грозились отправить отъявленных нарушителей режима в колонию, а старшие ребята рассказывали после отбоя всякие страсти, в том числе—как опускают новичков на зоне и какие мерзости заставляют выполнять тех, кто не умеет постоять за себя.

Словом, Лёха и Мишка упорно не признавали вину, но директор детдома Семён Фокич Тяпкун, бывший сотрудник НКВД, как он любил говорить—«чекист старой закалки», решил во что бы то ни стало вывести воришек на чистую воду. Но пацаны молчали, как партизаны, и только шмыгали носами, размазывая сопли и слёзы по чумазым лицам. Тогда с них стянули портки и выставили голышом на веранде детдома. Лёха и Мишка, очумев от холода и позора, переминались с ноги на ногу, ладонями прикрывали стыдные места. Руки им не связали, а ведь и такое бывало, зато повесили на шею картонки с надписями чернильным карандашом: «Вор и предатель Родины!»

При чём тут Родина, никто особо не задумывался. Зато весь детдом сбежался поглазеть на синих от холода воришек. В том числе и девчонки. Они покатывались со смеху, что было вдвойне обидно, потому как детдомовские девчонки недалеко ушли от мальчишек. Так же хрипло ругались матом, втайне от воспитателей покуривали за конюшней, где стояла единственная на детдом лошадь—кривая на один глаз доходягя—кобыла Кашка. А ещё

дрались не на жизнь, а на смерть между собой. А случалось—и с пацанами, причём те не всегда выходили победителями. Но даже в этой стае, где правили острые зубы и крепкий кулак, встречались свои симпатии и что-то похожее на любовь.

Кира Правоторова была из тех девчонок, которые вроде ничем не пытаются выделиться, а замечаешь издалека. Невысокого роста, худенькая, почти прозрачная, с тихим голосом, такой на раз-два очутиться в самом низу иерархии волчат, но, как ни странно, этого не произошло. Девчонки слушались её беспрекословно, хотя в драках Кира не участвовала и никогда не ругалась матом. Её единственную называли по имени и не остригли наголо.

Остальные же воспитанники привычно откликались на «дармоедов» и «поганцев», а также на клички—обидные и не всегда приличные, на которые не скупилась ни сам директор, ни воспитатели.

Как-то в начале лета Мишка видел, как Кира, встав на цыпочки, обнимала через забор высокого, заросшего седой щетиной мужика в фуфайке и кепке со сломанным козырьком и что-то быстро-быстро говорила ему. Мужик достал из котомки небольшой свёрток и всё совал и совал его девочке в руки, а она свёрток отталкивала и опять что-то говорила—на этот раз сердито. Заметив, что Мишка наблюдает за ними, Кира соскочила с забора, махнула старику рукой: «Иди!»—и тот, сторбившись, поплёлся, шаркая ногами, по тропинке к лесу.

— Твой дед, что ли?—спросил Мишка.

Кира окинула его презрительным взглядом: — Тебе какое дело? Иди куда шёл!—и побежала к девчонкам, которые затеяли лапту на спортивной площадке.

Мишка и пошёл своей дорогой—вскапывать вместе с другими пацанами детдомовский огород.

Так вот Кира единственная не пришла полюбоваться на то позорище. Её появление на террасе Мишка просто не пережил бы. Он и так уже собирался порезать себе вены куском стекла. И место на запястьях отметил, где полоснёт острым, как бритва, осколком по тонким синим ниточкам. Но представил, как потечёт по ладоням тёплая липкая кровь, и задохнулся от тошноты, подступившей к горлу. Поэтому мысли о самоубийстве отошли на второй план. И всё-таки стыд, который он переживал, стоя без штанов перед девчонками, не шёл ни в какое сравнение с тем наказанием, что придумал им директор. Семён Фокич был неистощим в своих желаниях вывести детский дом в образцовые и получить за то награду—переходящее Красное знамя района. А бездельники и воришки вроде Мишки и Лёхи портили все показатели, не поддавались перевоспитанию, учились из рук вон плохо, да ещё старались стянуть всё, что плохо лежит.

Котомка с сухарями сама по себе была не столь великой потерей. За счёт тёплой дружбы с бухгалтером Марьей Сергеевной и её мужем—завхозом детдома—Тяпкун жил припеваючи и даже начал строить дом на усадьбе матери, хотя и проживал в казённой квартире, в так называемом «офицерском доме». Шестиквартирный барак построили ещё до войны, когда вблизи посёлка возвели лагпункт, сторевший во время восстания заключённых в пятьдесят втором году.

Отстраивать заново лагерь не стали—возможно, потому, что со смертью Сталина пришли другие времена. Зэкá, оставшихся в живых после подавления восстания, раскидали по другим лагерям, офицеров—кого осудили за халатность и промах, кого просто выгнали в шею из органов, начальника расстреляли, как и зачинщиков восстания, а конвоиров растерзали ещё заключённые. Тяпкун, начальника политчасти, тоже уволили и даже вроде исключили из партии. Но странным образом он вскоре возник из пепла в должности директора Синегорского детского дома, расположенного за триста километров от краевого центра и в доброй полусотне от районного. Что и определило ту методику образовательного и воспитательного процесса, которой Семён Фокич владел в совершенстве.

Наказание, что придумал директор не только воришкам, но и для острастки другим воспитанникам, было крайне постыдным и унижительным. На вечерней линейке-поверке Тяпкун зачитал приказ о том, что воспитанники Легостаев и Пинчук отныне переводятся в женское отделение. А это означало, что ночевать они будут в девчоночьей спальне, и в баню ходить, и на занятия в школе, и за обеденным столом сидеть вместе с девчонками. Чуть раньше, на педсовете, Семён Фокич, вдобавок ко всему, предложил переодеть пацанов в девчоночьи платьишки, но тут неожиданно получил отпор от учительницы русского языка и литературы Дарьи Макаровны—старой большевички, сосланной в Сибирь ещё при царизме.

Впрочем, она только произнесла брезгливо: — Фу, как гадко!

И Тяпкун неожиданно отказался от этой затеи, хотя никому в коллективе не прощал неповиновения.

Приказ выслушали при гробовом молчании. Не только взрослые, но и дети понимали, что наказание несоразмерно преступлению, совершённое их товарищами. Поэтому даже известный трус и ябеда Ганька Абросимов не сразу побежал докладывать директору, что Лёха и Мишка дали дёру из детдома. А помогла им Кира. После отбоя она подкралась к Мишкиной кровати и торопливо прошептала:

— За конюшней третья доска в заборе...

И быстро вернулась на своё место, пока её не застучала ночная нянечка.

Сдвинув головы, мальчишки посоветовались и под утро прошмыгнули мимо уснувшей нянечки, выбрались на улицу и, пригнувшись, рванули к конюшне.

Кира не обманула. Доска болталась на одном гвозде. Мишка и Лёха отвели её в сторону и один за другим пролезли сквозь дыру в заборе. Вернули доску на место, и вот она — свобода! И пахла она морозом, свежим бельём и печным дымком.

Со всех ног они бросились к лесу. Шустрая метель быстро замела следы. Мальчишки долго плутали по тайге, но потом вышли на какую-то дорожку и по ней едва дотащились к вечеру до лесопункта, что находился в пятнадцати километрах от Синегорска. Закопчен от холода, они постучались в ворота крайней избы посёлка, абсолютно не представляя, что их ждёт впереди. Но одно знали точно: если их даже порежут на куски и скормят голодным псам, в детский дом они никогда не вернутся.

Но им повезло. В избушке жил бобылём Трофимыч — старый и нелюдимый. Отворив калитку в воротах и смерив суровым взглядом из-под мохнатых седых бровей двух заиндевевших пацанов, старик буркнул:

— В избу проходите!

Повернувшись к ним широкой спиной, направился через двор, засыпанный соломенной трухой и катышками конского навоза, мимо длинных поленниц дров и горы сучковатых чурок, к крыльцу — новенькому, в отличие от избы с её просевшей крышей и гнилыми оконными наличниками. Мишка и Лёха, подскакивая от холода, как воробьи, двинулись следом.

## Глава 2

*Земляк из Ленинграда. Сало и щи.*

*Арифметика лесоповала*

В избе было тепло. Возле пузатой печки на железном листе громоздились берёзовые поленья, из чугунок на плите торчала деревянная поварёшка. А ещё по кухне витал запах наваристых щей с мясом, отчего у мальчишек и вовсе захватило дух, а рты наполнились слюной.

— Вши есть? — буркнул старик.

— Н-нет! — с трудом выдавил из себя Мишка.

— Тогда скидывайте фуфайки и — к столу!

Старик склонился к печной дверце и затолкал в неё пару поленьев.

Мальчишки, не дожидаясь второго приглашения, торопливо сняли фуфайки, кинули в угол, постеснявшись определить на вешалку рядом с хозяйским полубубком.

Усевшись на лавку, бросили быстрые взгляды по сторонам. Старая керосиновая лампа коптила. Крохотного язычка пламени не хватало, чтобы осветить всю избу. Причудливые тени металась по

стенам, копились в углах. Хозяин — огромного роста, жилистый, с чёрными, навек просмолёнными руками лесоруба, — передвигался по единственной комнатёнке, наклонив голову и ссутулив плечи. Из мебели у него были лишь топчан, стол и лавка вдоль стены. Да в углу у порога стояла высокая кадка с водой, рядом — ушат с грязной водой, а над ним, на стене, — рукомойник, под которым мальчишки торопливо ополоснули руки.

— Беглые, что ли? — старик пододвинул к ним глиняную миску, полную щей, бросил две деревянные ложки; прижав к груди буханку, нарезал хлеб толстыми ломтями.

— Не-а! — мотнул головой Лёха, не сводя глаз с миски. — Заблудились мы!

— Заблудились? — хмыкнул старик. — В такой одежке тока в тайге плутать! — и приказал: — Ешьте ужо, бедолаги!

Мальчишки схватили ложки, и миска вмиг опустела. Только есть захотелось ещё сильнее.

Они молча глянули на старика — виновато и просительно, словно котятка, потерявшие мамку. Дед понял. Крякнул, но снова наполнил миску щами, а затем, подумав, вышел в сени и вернулся с добрым шматом сала, завернутым в тряпочку. Не проронив ни слова, отрезал по ломтю и впечатал ими куски хлеба.

— Оголодали совсем, пацаны?

Уписывая хлеб с салом, мальчишки дружно кивнули головами.

— Из детдома утекли? — старик вздохнул и, заметив, что его нежданные гости испуганно переглянулись, добродушно усмехнулся. — Не бойтесь, не сдам! Тока приютить не могу! В лесопункте каждый человек на виду, сразу участковому доложат, что у Трофимыча неизвестные пацаны объявились. А тот живо вас в детдом оттаргует!

Мальчишки снова переглянулись.

— Мы уйдём, дедушка, — тихо сказал Лёха. — Вот только обогреемся чуток!

— Спасибо, что накормили, — подал голос Мишка. — Давайте мы вам за то воды наносим или дров наколем!

— Сидите уже! — махнул рукой Трофимыч. — Кто же ночью дрова колет? — и сверкнул глазами из-под мохнатых бровей. — Переночуете у меня! Вон на печке места хватит!

Мальчишки встрепенулись и повеселели.

— Спасибо, — Мишка тоже вспомнил забытое слово. — Только не говорите участковому...

— Ох, вижу, шибко вам неохота вертаться в детдом?

— Шибко! — вздохнули беглецы. — Теперь непременно на «малолетку» отправят.

— Так вы натворили, выходит, бед и смылись? — нахмурился дед и поднялся из-за стола.

Мальчишки вскочили следом и торопливо, перебивая друг друга, поведали свою историю.

— Ей-богу, не вре́м! — неловко перекрестился Мишка.

Надо же, семь лет прошло после смерти бабушки, а он вспомнил, как она крестилась перед иконой, которую привезла с собой в эвакуацию. — Не кощунствуй! — буркнул старик. — Нехристь небось? Пионер?

— Я — крещёный! — Мишка вздёнул подбородок. — Меня в церкви Смоленской иконы Божьей Матери крестили, в Ленинграде. Бабушка велела только никому не рассказывать. А в пионеры нас с Мишкой не приняли, потому что плохо учились. — Так ты питерский, получается? — дед взглянул на него с интересом. — Земляк, значитца! А я на Путиловском заводе когда-то служил, да в тридцать втором контрреволюцию пришили и в Сибирь сослали! Тогда завод «Красным путиловцем» назывался, и выпускали мы первый советский трактор «Фордзон».

Трофимыч улыбнулся и развёл руками. — Виданное ли дело — земляка встретил! А земляков надобно выручать! — и посмотрел на Лёху. — А ты, малец, тоже из эвакуированных? — Не, мы из спецпоселенцев, — шмыгнул носом Лёха. — Аж с самой Украины нас сюда пригнали, жили в трудпоселении Новошадрино. Недалеко отсюда. Папка с дедом во время войны за дровами в тайгу поехали и на дезертиров напоролись. Те и порешили весь обоз. Мамка после с горя в речке утопилась. Вот нас с сёстрами по разным детдомам и разбросали. Я маленький совсем был. Четыре года, кажись.

— А меня в год бабушка в Сибирь привезла, так что ни папку, ни мамку не помню, — вздохнул Мишка. — Потерялись они на фронте. Без вести! — Эх вы, птахи неприютные, — Трофимыч неожиданно обнял их за плечи, притянул к себе. — Оставил бы я вас при себе, всё веселее было бы остаток дней доживать... Но не дадут ведь! Да ещё пособничество пришьют.

— Мы понимаем! — шмыгнул носом Мишка. — Автра уйдём!

— Да куда тут уйдёшь? — вздохнул дед. — Многие пытались... Енисейский тракт на костях каторжных лежит. И вдоль него — тьма тьмушая безвестных могилок! А по берегам скока их, бедолаг, полегло. Сам выдывал: идёт по Енисею баржа — до отказа набита спецпоселенцами. Остановится возле пустого берега — одна тайга кругом да зверьё дикое, высадят десяток-другой семей — как хочешь, так и устраивайся. Если Господь не оставит, то как-нибудь и выживешь, а ежели помрёшь, то не сразу. Ни хлеба тебе, ни варева, ни крыши над головой. Народ поначалу в шалашах мыкался, а к зиме землянки рыть стали, чисто кроты, в норы закапывались. Мёрли, как мухи, от холода-голода, от цинги. Зато леспромхозы вокруг росли, как грибы... Научились у местных вялить на зиму

рыбу, а потом на рыбу меняли кое-что из одежки. Картошки почти ни у кого не было. Попробуй отвоюй у тайги хоть сотку земли — кровавым потоком изойдёшь! С одним только кедровым пнём, чтобы его выкорчевать, пять-шесть крепких мужиков мучились по нескольку дней.

Трофимыч поднялся с лавки и снял с плиты глиняную кринку, поставил на стол, сдёнул прикрывавшую её тряпочку:

— Вот, молоко в печи топлёное. Сам редко потребляю, а тут точно почуял, что гости нагрянут.

Мальчишки принялись за молоко, а дед скрутил сигарку из газеты, закурил. Обвёл их задумчивым взглядом.

— Эх, ребятня, ваше горе — полгоря, а что люди в здешних местах испытали, за что мёрли, как мухи, вам и неведомо. Я до поселения в Юрзинском лагункте десять лет день в день отпахал, и всё на лесозаготовках. Вон пальцы скрючило, будто топор до сих пор не выпускаю. Бывалоча, на улице морозяка под пятьдесят градусов, по стьлому дереву топором вдаришь, а он вдребезги разлетается. Металл холода не выдерживал, а тут люди... Э-эх, край белых ночей да чёрных дней! И жизни здесь край: кто попал сюда, обратно вертается редко! Дед помолчал, втянул в себя табачный дым, сильно закашлялся, а потом перекрестился на тёмный угол и окинул притихших пацанов мрачным взглядом.

— Пытался кое-кто бежать, но кругом — тайга да болота, жрали они людишек, точно звери. Мало кого из когтей выпускали...

— Дедушка, страшное рассказываете, не боитесь? — Лёха опасно покосился на окна. — Запросто могут настучать...

— Вы, што ль, настучите? Так я своё отбоился, — усмехнулся Трофимыч. — Да и недолго мне осталось. Чаючка поедом ест. Доживу ли до лета — неведомо! А в лагункте держался изо всех сил. Думал, лишь бы домой вернуться, к детишкам своим, к семье. Тока не дождалась она. В блокаду сгнули. И матушка моя, и детки, и жена Вера Матвеевна. Здеся таперича мой дом. Здеся и на кладбище снесут.

Дед крикнул и отвернулся. Мальчишки молча наблюдали за ним, не решаясь заговорить. Не глядя на них, дед снова достал клочок газеты, негнушимися пальцами долго сворачивал самокрутку, просыпая табак, и что-то сердито ворчал в седые усы. Затем заговорил снова:

— Валка деревьев — тока вручную. По пояс в снегу тонули, лес валили двуручными пилами — попробуй их потягать весь световой день! Рубили сучья, стволы пилили на брёвна трёхсаженные, а затем сортировали: комель, другач и третьяк — отдельно. Лошади, бывало, околевали от бескормицы и морозов, а люди держались!

Лёху и Мишку разморило в тепле, веки слипались, и так хотелось растянуться прямо на лавке,

подложить под голову кулак и забыться впервые за многие годы в спокойном, безмятежном сне. Но дед, уставившись в одну точку, продолжал рассказывать, словно напрочь забыл об их существовании.

— Самое трудное — лес вывозить. Кубометр мёрзлой сосны без малого тонну весит. Так вот, каждое бревно комлем — самой толстой его частью — надобно чокером зацепить, на сани уложить, а тонкий конец, хлыст по-нашему, уже волоком по снегу, по пням да колдобинам. После придумали подсанки под него подводить. Дело быстрее пошло. Во время войны лесовозные дороги водой стали заливать. Тока сани мотались шибко в разные стороны, лошади уставали. Тогда в чью-то умную голову мысля удачная пришла — колеи во льду делать. А в сорок шестом узкоколейку проложили, и вовсе жизнь покатила весёлая. Сейчас на лесосеке чё не работать? Лесовозы, трактора трелёвочные, лебёдки, лес бензопилами валят. В нашем лесопункте узкоколейки аж две — выше Шерчанки да на Восьмом плотбище. На поезде и смену на деяны доставят, и назад отвезут, а раньше прямо на лесосеке жили. Три барака, сушилка — робу и валенки просушить — да конный двор. Зимой лапник водой обливали — конюшня из него строили. Посреди барака — печка чугунная, а по стенам топчаны в два яруса — места спальные за занавесками. Кроме раскулаченных, работали с нами большие мастера по сплаву. С Вятки их пригнали. Медпункта, как сейчас, не было. От цинги спасались ягодами, грибами да отваром хвойным. Кедровые орехи мешками заготавливали. А по весне тока черемша, колба по-местному, в тайге поднимется — и стар, и млад как на покос выходили. Не зря говорили: «Дожили до колбы — пережили год войны!» Оттого, наверно, победным луком и назвали. Мы её на зиму и сушили, и солили, а скока на фронт отправили, в госпиталя... Наша колба и раненного, и доходягу — любого на ноги мигом ставит...

Тут Лёха, который, облокотившись на стол, поддерживал отяжелевшую голову ладонью, видно, задремал. Рука подломилась, и он с маху ударился лбом о столешницу.

Трофимыч вздрогнул и, возвращаясь в реальность, недоуменно уставился на непрошенных гостей. Лёха, потирая лоб, смутился:

— Простите, деда! Я не спал!

Хозяин покачал головой, буркнул сердито в бороду:

— Старый болван! Замучил совсем пацанов! — и скомандовал: — Давайте на печь! Утро вечера мудренее!

Задёрнул за ними выцветшую ситцевую занавеску, прикрывавшую лежанку, и пояснил:

— Не дай Бог, кто утром забежит, заметит!

Повозившись под старым лоскутным одеялом, беглецы притихли.

Дед задул лампу и пробурчал из своего угла: — Завтра отвезу вас на лошади в Дивный. Там посёлок большой, не скоро заметят. Оттуда машины в край идут. Авось кто из шофёров и подберит в город по доброте душевной. А на постой определю к тётке Тараканихе. Она в столовой посудомойкой работает. Так что с голоду не помрёте. А взамен по хозяйству поможете. Одинокая она. Сына на лесосеке деревом убило...

Разомлевшие на тёплой лежанке мальчишки промышчали в ответ что-то нечленораздельное и тут же засопели носами. Трофимыч усмехнулся и снова свернул из газеты самокрутку — ловко даже в темноте. По избе поплыл запах крепчайшего табака. Мальчишки на печке чихнули, но не проснулись.

Некоторое время красный огонёк словно плавал в воздухе, но вскоре погас. Заскрипел топчан, дед что-то пробормотал, и вскоре в избе воцарилась тишина, изредка прерываемая сонными детскими вскриками и стариковским глухим кашлем...

### Глава 3

*«Студер», водитель Яшка  
и капитан госбезопасности Барай*

До Дивного — крупного посёлка с судоверфью, на которой строили баржи для Северного морского пути, — добрались без происшествий. Трофимыч набросал в сани соломы, а сверху накиннул на мальчишек огромный тулуп, как и сам дед, насквозь провонявший табачным дымом. Мальчишки пригрелись и проспали всю дорогу. Проснулись они от пронзительного женского голоса:

— Ну, удружил, старый! И что прикажешь делать с этой бедой?

Чья-то рука стянула с них тулуп, и они зажмурились от яркого солнца. Когда же открыли глаза, то увидели, что сверху вниз на них смотрит высокая худая женщина с измученным морщинистым лицом. Лёха и Мишка сжались в комок. Но женщина улыбнулась, и они поняли: прогонять их никто не собирается.

— Ишь, заморыши! — вздохнула женщина. — Какие из них помощники?

— Откормишь — за первый сорт сойдут, — добродушно пробасил дед и упал в сани.

Уже отъезжая, погрозил кнутом:

— Будете озоровать — непременно в милицию сдам!

— Да ладно тебе, старый! — отмахнулась от него женщина и обняла мальчишек за плечи. — Айда в дом! Отогреетесь, а я пока картошки сварю.

Женщина велела называть себя Евдокией Марковной. Она от души накормила их картошкой с квашеной капустой, щедро политой подсолнечным маслом. А к вечеру протопила баню, настряпала оладий. Втроём они долго гоняли чай, улетаая

толстые оладьи со сметаной, и к ночи беглецы совсем разомлели от чистоты, тепла и обильной еды.

Евдокия Марковна оказалась словоохотливой и невредной женщиной. Спать уложила их на печке, а утром, отправляясь на работу, велела за ворота не высовываться, но если кто-то из соседей заметит да начнёт расспрашивать, кто такие и откуда, надобно ответить, что они её племянники и приехали помочь по хозяйству. Мол, тётушка одинокая и больная, одна не справляется.

Спозаранку она убежала на работу, но мальчишки не бездельничали, добросовестно отработали свой хлеб. Очистили двор от снега, натаскали в сени дров про запас, накормили поросёнка, десяток кур, бросили сена старой козе с кривыми жёлтыми рогами, протопили печь и даже помыли полы в избе. А затем отправились на разведку.

Дивный стоял на горе, и улица, где жила Евдокия Марковна, располагалась выше всех. Дальше—только тайга и скалы, заваленные снегом. По узкому переулку они спустились до главной улицы посёлка—имени Героя Советского Союза Молокова, полярного лётчика, спасавшего челюскинцев вместе с Водопьяновым, Ляпидевским и Каманиным. Эти фамилии все советские мальчишки знали назубок, но первым в ряду мужественных лётчиков стоял, конечно, Валерий Чкалов.

В самом центре посёлка находились столовая, двухэтажный клуб и контора судоверфи. Напротив конторы, на горке, виднелись два бревенчатых корпуса училища ФЗО, чуть дальше—приземистый, обшитый досками барак, в котором располагалась геологическая партия, а за ним—длинное, в десяток окон, здание школы-семилетки.

Только возле конторы, школы и училища деревянные тротуары были расчищены от снега. Народ большей частью передвигался среди сугробов по узким тропинкам да по дороге, наезженной до блеска. Мальчишки добрались до столовой, прицепившись к хлыстам «макаронника»—длинным горбылям, которые перевозил на санях узкоглазый возчик. Заметив пассажиров, он погрозил им кнутом:

— Пошла вон, разбойника! Шибка-шибка зопать!

Но они уже спрыгнули с саней возле столовой и огляделись по сторонам.

Похоже, это было самое оживлённое место в посёлке. Подле нескольких трёхтонок (их называли «Захарамы Ивановичами», или попросту—«Захарами»), чьи моторы заботливо укрывали ватные попоны, толпились шофёры в промасленных телогрейках, коротких полушубках и валенках. Сбив на затылок ушанки или каракулевые кубанки, они курили ядрёные папиросы «Север» и «Прибой», весело переговаривались и сплёвывали жёлтую слюну на грязный снег. Тут же крутились два фэзэушника в чёрных шинелях и выпрашивали окурки. Возле

крыльца столовой на чурбаке устроился одноногий инвалид на деревянном протезе и, растягивая меха гармошки, тоскливо выводил, устремив взгляд в серое, затянутое низкими тучами небо:

Перебиты, поломаны крылья,  
Тихой болью мне душу свело,  
Кокаином отравленной пылью  
Все дороги мои замело.  
Я иду и бреду, спотыкаясь,  
И не знаю, куда я иду.  
Ах, зачем моя участь такая?  
Кто накликал мне злую судьбу?

Лёха и Мишка прошлись по улице между клубом и конторой, перебежали дорогу перед трактором КТ-12, пыхтевшим на склоне и от натуги стрелявшим очередями белого пара от газогенератора. «Котик», как ласково называли его лесорубы, тащил на горбу в сторону пилорамы пучок толстых неошкуренных стволов.

Оказавшись на противоположной стороне улицы, мальчишки потоптались возле здания с красной вывеской «Геологическая партия №17», в мелкие буквы, что виднелись выше и ниже, вглядываться не стали и, не сговариваясь, повернули обратно. Мимо училища ФЗО они пройти не насмелились. Трудовые резервы в ушанках с кокардами и в чёрных шинелях, перетянутых ремнями с латунными пряжками, сновали по просторному двору, толкались, орали, пока на крыльцо не выкатился мужчина—коротконогий крепыш в дублёном полушубке—и не рявкнул:

— Становись!  
Буйная ватага фэзэушников мигом присмирела и выстроилась в длинную шеренгу. Шинели, ремни, кокарды и эта покорная шеренга очень живо напомнили Мишке и Лёхе детдом. Мужчины-воспитатели и сам Тяпкун продолжали носить армейские шинели, правда, со споротыми лычками и погонами. И так же рявкали: «Становись!»—загоняя детдомовцев на утренние и вечерние поверки.

Поэтому, что было дальше, мальчишки не увидели. Чуть ли ни бегом они направились к столовой. Но не тут-то было! Дойти до неё они не успели, хотя оставалось шагов двести, не больше. Дорогу им преградил один из тех фэзэушников, что стреляли окурки у шофёров.

Был он на добрую голову выше Лёхи и Мишки и в плечах шире, а уж кулаки, торчавшие из коротких рукавов шинели, не шли ни в какое сравнение с кулаками пацанов, даже вместе взятыми. Вдобавок щёку верзилы пересекал свежий багровый шрам. Мальчишки намётанным глазом мигом определили: по щеке полоснули ножом. По всему выходило: перед ними стоял закалённый в битвах боец. А у таких пощады просить бесполезно. Здесь только драться—до крови и даже до смерти. У Лёхи

тоже имелся шрам над бровью, похожий чем-то на маленький лист папоротника, но получил он его отнюдь не в сражениях. Петух напал на него в малом возрасте и едва не выбил глаза. Петуха батя пустил в расход, но шрам остался навечно.

Мальчишки затравленно оглянулись. Слева—сугроб, и справа—сугроб, а через дорогу—столовка, где курят, гогочут и весело матерятся водители «Захаров».

— Кто такие? — спросил верзила. — Чёй-то не встречал вас раньше.

Мальчишки промолчали, понимая, что драться придётся по-любому.

Но верзила вытащил из-за пазухи мятую пачку «Беломорканала», полную окурков, и неожиданно продожил:

— Курнуть не желаете?

Прозвучало это вполне миролюбиво, а маленькие глазки из-под низкого лба смотрели добродушно. И пацаны поняли: бить не будут. Но всё-таки отступили на шаг.

— Не-а, — сказал Лёха, — не курим. Тётка поддаст, если запах учует!

— Ну, как хотите, — не огорчился фэзэушник. — Мне больше достанется!

Он сунул пачку в карман шинели и, протянув поочерёдно Лёхе и Мишке красную от мороза руку, важно представился: — Васильев Николай. Вон там, — кивнул он на ФЗУ, — маюся!

Мальчишки пробормотали свои имена. Уже смеркалось, и надо было срочно бежать до дома Евдокии Марковны, чтобы вернуться до её прихода. Ведь тётка строго-настрого приказала им не покидать двор, а они ослушались в первый же день. Но новый знакомец заступил тропинку, а попросить его посторониться они не решились: вдруг сочтёт за оскорбление и полезет в драку? — А кто тётка ваша? — продолжал допытываться Колька. — Где живёт?

Вопросы пацанам не понравились, но отвечать не пришлось. Мимо них проехал грузовик, грохоча пустыми бочками в кузове. И новый знакомый, развернувшись корпусом к дороге, сверкнул глазами и восторженно выдохнул:

— Яшка проехал! На «Студере»! — и махнул рукой: — Айда, парни! «Студер», скажу вам, это вещь!

И чуть ли не бегом припустил к столовой. Лёха и Мишка переглянулись и, недолго думая, napravились следом. О «Студебекерах» — американских грузовиках, полученных СССР по ленд-лизу, — они слышали, но вот так, вживую, видеть не приходилось. «Студер» и внешне отличался от «Захара»: выглядел мощнее — с большой кабиной, металлическими бортами, наращёнными деревянными решётками, и двумя скобами для облегчения посадки и высадки людей. Передние крылья у него были высокими и прямоугольными. При необходимости на каждом из них вполне могли уместиться по два

человека. Фары тоже располагались высоко, над крыльями, и были защищены решётками. Конечно же, в военное время от пуль они не спасали, но при езде по бездорожью защищали от камней и веток, которые могли прилететь из-под колёс шедшей впереди машины.

Кроме того, у «американца» имелся брезентовый тент, и по ходу Колька объяснил, что на «Студере» можно добраться до района и стоит это удовольствие десять рублей. Но ездит на нём в основном начальство, а простой люд прёт пешком на левый берег, а дальше уж как придётся... Или за пятёрку на попутных «Захарах», или за трёшку на лошадях. Но только зимой, когда имеется ледовая переправа. А как вскроется Енисей, то перебраться через него можно только на лодках...

Но мальчишки и без Кольки знали, что в Дивном долго не задержатся. Очистится река ото льда — и отсюда им уже не смыться. Расстояния и морозы, конечно, пугали, но они понимали, что оставаться надолго в посёлке гораздо опаснее. Тяпкун наверняка уже оповестил милицию об их побеге.

— «Студер» на керосине или солярке не работает, тока на чистом бензине. Это тебе не полторка, — важно сообщил Колька, притормозив напротив столовой рядом с грузовиком. — Яшка внутри кабины всё бархатной тряпкой протирает, чтоб сверкало. Говорит, осерчает машина на грязь и не заведётся...

Мальчишки приподнялись на цыпочках и заглянули в кабину. В глаза бросилось большой рулевое колесо с четырьмя спицами, отделанное пластмассой. На кнопке клаксона красовалась надпись «Studebaker».

Водитель, который уже открыл дверцу, чтобы выйти, заметил пацанов и нахмурился:

— Шо трётся, шпана? Сопрёте шо — башку оторву и скажу, шо так и было!

Колька льстиво улыбнулся:

— Та мы ничего! Мы тока посмотреть!

Лёха с Мишкой предусмотрительно отступили за Колькину спину и продолжали с интересом разглядывать чудо иноземного автомобилестроения, на котором даже ватная попона, укрывавшая мотор от холода и не замызанная, как у ЗИС-ов, была сшита из толстого, подбитого ватой блестящего материала и простёгана суровой ниткой. Яшка и впрямь холил и берёг свою машину, неведомо какими путями попавшую в глухой сибирский посёлок.

На «Студебекере» ещё сохранились американские номера А483726, выведенные белой краской на бампере. И были они как послание из другого пространства — незнакомого и чужого.

Мишка перевёл дыхание. Сердце колотилось быстро-быстро. Нет, не от бега или от страха, а от внезапного осознания того, что мир вокруг

огромен и чудесен и только на время ограничен стилью тайгой, холодными скалами и застывшей под обрывом рекой. Но придёт время, этот мир откроется и для него—светлый, тёплый и гостеприимный. Именно в тот момент Мишка отчётливо понял, что никогда не вернётся в детдом, а этот грузовик, разбитый на фронтовых дорогах, с облупленной кабиной, вдруг стал для него олицетворением свободы, другой, совсем незнакомой жизни, где он никогда не испытает горя и унижений. Той самой жизни, в которой он обязательно встретится с Кирой...

Водитель открыл дверцу и спрыгнул на снег. Колька вытянулся стрункой и заискивающе улыбнулся:

— Яков Иванович, наше вам...

— Глянь пока!—кивнул снисходительно Яшка.— Залезешь в кабину—ухи оторву!

Шофёр «Студебекера», смуглый жилистый крепыш, сильно отличался от чумазных водителей «Захаров». Носил он круглую шапку-«финку», нерпичью куртку на меху, чистые вагные штаны, заправленные в белые фетровые бурки. Ох уж эти бурки! Кто их помнит сейчас? Шикарные сапоги из белого войлока. Края голенищ обшиты кожаной лентой, головки и пятки тоже кожаные. Откуда взялось название «бурки»—непонятно. Возможно, с Кавказа, где на плечах носили бурку, тоже из войлока. Помните Чапаева? Киношного, конечно! Именно в такой бурке он вёл в атаку своих конников... Бурки, как тогда казалось, были у каждого начальника, выше и ниже рангом, если судить по газетным снимкам, даже у нового генсека КПСС Хрущёва, занявшего место Сталина.

Видно, этот наряд позволял Яшке чувствовать себя на высоте. Да и машина у него была особенная—«мериканская», не чета ободранным работягам зис. Он и к шофёрам подошёл странной, чуть вихляющей походкой и, блеснув золотым зубом, раскрыл коробку «Казбека». К ней тотчас потянулись пальцы—чёрные, с обломанными ногтями, и коробка почти опустела.

— Во!—прошептал восторженно Колька.— «Казбеком» угощает!—и удручённо добавил:— Тока окурки мужики с собой уносят. Не поживиться!

Яшка картинным жестом резко поднёс и отбросил два пальца от виска и направился к столовой. Инвалид, завидев его, расплылся в радостной улыбке.

— А ну, Гришаня, давай мою!—Яшка достал из коробки ещё одну «казбечину», припасённую явно для такого случая, и подал инвалиду.

Тот привычно пристроил папиросу за ухо, растянул меха трёхрядки и, притопывая в такт здоровой ногой в растоптанном валенке, выдал весело, разухабисто, так, что вздрогнул морозный воздух:

Как на Дерибасовской—угол Ришельевской  
В десять часов вечера разнеслася весть,  
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки  
Шестеро налётчиков отобрали честь.  
Гоп-цоп-перверцоп! Бабушка здорова!  
Гоп-цоп-перверцоп! Кушает компот.  
Гоп-цоп-перверцоп! И мечтает снова—  
Эх! Гоп-цоп-перверцоп!—пережить налёт...

Яшка с довольным видом присвистнул и, сбив «финку» на затылок, прошёлся этаким кандибобером перед инвалидом, выделявая ногами затейливые коленца. Водители загоготали, а Яшка вытер шапкой разгорячённое лицо и похлопал гармониста по плечу:

— Эх, Гришаня, растревожил ты мою душу!

— Развлекаемся?—строгий мужской голос вторгся в весёлый галдёж возле столовой.

Водители молниеносно смолкли, расступились и, дружно развернувшись, почти побежали к своим грузовикам. А Яшка остался один на один с высоким мужчиной в светлом полушубке, перетянутом крест-накрест португеей с кобурой на боку. Незнакомец был в таких же, как у Яшки, фетровых бурках и в серой офицерской фуражке с васильковым околышем. Галифе с кантом—того же весёлого василькового цвета, а на погонах с капитанскими звёздами—синие просветы. И сам он был из себя красавец—розовощёкий, русоволосый, с ярко-голубыми глазами.

— Ой, не надо мене уговаривать, Пал Степаныч, я и так соглашусь!—Яшка согнулся в полупоклоне и развёл руки в стороны.

— Опять кривляешься?—процедил сквозь зубы офицер. Щека его дёрнулась, и он, прищурившись, окинул Яшку сердитым взглядом.— Пошёл вон!

Яшка резко выпрямился, глаза его недобро сверкнули, но произнёс с показушным смирением:— Вы шо, спешите пообедавать скорее, чем я? Так наше вам пожалуйста! Проходите, как герой фронта, вне очереди!

Колька отступил за капот «Студебекера»:

— Линяем!

Мишка и Лёха мигом оказались рядом, кожей почувствовав угрозу. Но любопытство оказалось сильнее страха. Притаившись за машиной, они наблюдали за развитием событий.

Офицер цапнул Яшку за отвороты куртки, притянул к себе и лениво процедил:

— Оборзел, Яков? Или опять паспорт отобрать?

В его словах прозвучала угроза, даже мальчишки это почувствовали. Яшка махом сник, а лицо его приняло угодливое выражение.

— Та я себе знаю, а вы себе думайте шо хотите, гражданин начальник! Я же как весь народ!—и оглянулся по сторонам.



Но водителей вместе с машинами словно ветром сдуло, а редкие прохожие, пряча взгляды, спешно переходили на другую сторону улицы.

— Я те покажу «весь народ!» — посурировал офицер. Губы его сжались в тонкую полоску. — Я покажу, кто тут думает, а кто языком полощет!

И лапнул рукой кобуру.

Яшка насупился и, не поднимая глаз, промямлил:

— Чи повеселиться нельзя? Погудорить с товарищами?

Капитан не ответил и перевёл взгляд на инвалида, который торопливо заталкивал гармонь в грязную торбу. Руки у него дрожали, а глаза загравленно бегали.

— Бандитские песни распевашь, урка поганый? — процедил сквозь зубы офицер. — А ну вали отсюда! И чтоб духа твоего возле столовой не было! Не посмотрю, что калека!

— Сей момент, сей момент! — засуетился инвалид и, закинув торбу на плечо, засеменил, хромя, в сторону от столовой, с трудом выдирая протез из снега...

Офицер проводил его взглядом и снова уставился на Яшку. По виду они были ровесниками, но водитель «Студера» скукожился, как старая картофелина, и постарел за пару минут.

— Барай это! Вертухай местный, энкавэдэшник, — прошептал Колька. — Тут он главная власть, даже директор судоверфи перед ним на задних лапках ходит. Сматываться надо, пока не прищучил. Он мне раз чуть уши не открутил за то, что курил рядом с лесопилкой.

Дальнейшее пацанам не нужно было объяснять. Забыв попрощаться с Колькой, они пригнулись, проскочили за машиной мимо столовки, нырнули в переулок и задали стрекача. Бежали до тех пор, пока не перехватило дыхание. Свалившись в сугроб, они судорожно втягивали студёный воздух в распалённые глотки и долго не могли прийти в себя от страха.

## Глава 4

*Евдокия Марковна, возчик Тянь-фу  
и «Театр у микрофона»*

Лёхе и Мишке пока удавалось скрывать от Евдокии Марковны, что в нарушение запрета иногда покидали её двор. До центра они добирались на своих двоих, пару раз их подбрасывал до столовой уже знакомый возчик — китаец Тянь-фу, которого все называли Тимошкой. В отличие от поселковой детворы, они не дразнились: «Китаёза-манза, где твоя фанза?» — а однажды помогли Тимошке вытолкать из сугроба застрявшие сани. По этой причине он больше не гонял их, а, завидев на обочине, приветливо махал рукой, здоровался по-китайски: «Тсин цзуо!» — и предлагал: «Садися,

капитана!» Мальчишки на ходу заскакивали в сани и устраивались поверх хлыстов «макаронника».

У столовой, как обычно, толпились водители. Калека-гармонист, по обычаю, разводил меха гармошки, но пел теперь или «Тёмную ночь», или «Песню фронтового шофёра»:

Эх, путь-дорожка фронтовая,  
Не страшна нам бомбёжка любая.  
А помирать нам рановато,  
Есть у нас ещё дома дела...

Шофёры изредка угощали его папиросами. Фэзэушники по-прежнему клянчили окурки, но Кольки среди них не было. Лишь однажды мальчишки заметили его в колонне среди чёрных шинелей трудовых резервов. По сторонам он не смотрел и, похоже, их не заметил. Уполномоченный Барай возле столовой появлялся исправно — видно, приходил обедать, но Лёха и Мишка старались на глаза ему не попадаться и, завидев издали белый полушубок и серую фуражку, удирали без оглядки в ближний переулок.

Яков на своём «Студере» подъезжал редко, чтобы перекусить на скорую руку, но мимо гармониста проходил с мрачным видом и быстро, «Казбеком» не одаривал, хотя инвалид всякий раз приподнимался со своей чурки и заглядывал Яшке в лицо.

Мальчишки успели выяснить, что раз в неделю «Студебекер» отправляли в район за продуктами для магазина и столовой. Иногда Яшка брал пассажиров, но в морозы мало кто рисковал путешествовать в кузове. А в кабине ездили только главврач больницы, начальник геологической партии да иногда уполномоченный кгб Барай. Директор судоверфи раскатывал на «Победе», директор леспромхоза — на «Бобике», так что в услугах Яшки они не нуждались. Остальное население перемещалось на лошадях.

С горы от дома Евдокии Марковны мальчишки не раз наблюдали, как небольшой обоз из трёхпяти лошадей двигался вдоль вешек ледовой переправы через Енисей. Возчики утопали в огромных тулупах и мохнатых шапках, а пассажиры кутались в шубы, шали и одеяла так, что виднелись только глаза в обрамлении пушистого инея — куржака. Попасть в сани-розвальни для Мишки и Лёхи было так же неосуществимо, как покинуть посёлок в Яшкином «Студере». Но они прекрасно понимали, что скоро ловушка захлопнется: не за горами весна, река очистится ото льда. И куковать придётся до следующей зимы, если, конечно, директор детдома не выйдет на след раньше...

Енисей возле посёлка разливался километра на два. Широкая белая лента, рябая от снежных застругов, с тёмными пятнами наледей и голубоватыми — ледяных торосов, на горизонте плавно заворачивала вправо, теряясь среди высоких,

поросших тёмным лесом сопок. На противоположном берегу угадывались какие-то строения, по ночам там светились огоньки. Иногда люди пересекали реку пешком или на лыжах, но ветер, гнавший позёмку вдоль реки, чуть ли не сбивал с ног, поэтому желавших перейти Енисей в одиночку находилось немного.

Местная ребятня, расстегнув фуфайки и сбив на затылок ушанки, съезжала на самодельных санках с высокого откоса прямо на лёд, а недалеко от переправы расчистила от снега пятячок и рас-секала там на коньках, привязанных к валенкам сыроматыными ремнями. Мороз никого не пугал, а побелевшие носы и щёки тут же оттирали снегом.

Лёха и Мишка поглядывали на сверстников с завистью, но подойти не решались. Незвестно ещё, как встретят чужаков. Мимо дома Евдокии Марковны проходила лыжня, по ней почти ежедневно пробегали школьники во главе с учителем физкультуры. В отличие от детдомовского физрука, местный был высоким, жилистым, и весёлым. «Не отставай! Сопли подбирай! Вперёд, славяне!» — кричал он, не оборачиваясь, и мчался первым, в любую погоду — в выцветшей на плечах армейской гимнастёрке, а за ним стремглав летели на неуклюжих лыжах мальчишки и девочки в валенках и фуфайках — с покрасневшими и счастливыми лицами. На крутом вираже всегда находился тот, кто не вписывался в поворот, — чаще девочки, падал в сугроб, и на него, не понять — нарочно или случайно, валились бежавшие следом...

Сквозь щели в заборе Мишка и Лёха с завистью наблюдали за весёлой вознёй. Учитель и его воспитанники хохотали так, что окрестные ели вздрагивали и роняли снег с мохнатых лап, а мальчишки переглядывались. Их удивляло то, что ученики воспринимали учителя как товарища...

Во время одной из вылазок в центр посёлка Мишка чуть было не столкнулся лоб в лоб с высоким худым стариком с жёлтым измождённым лицом и потухшим взглядом. Тот, в старой фуфайке, засаленных ватных штанах и в огромных, подшитых резиной валенках, вышел из барака, в котором находилась геологическая партия, и, похоже, не заметил, что Мишка едва не влетел головой ему в живот, поскользнувшись возле крыльца на раскатанной полоске льда. Старик молча обогнул его и пошёл по улице, загребая снег валенками и прижимая к груди брезентовую полевую сумку. Мишка смотрел ему вслед, напряжённо вспоминая, откуда ему знаком этот человек. И вдруг словно вспышка пробил сознание. Именно он навещал Киру в детдоме. Только с той поры стал ещё немощнее и хуже — немудрено, что Мишка не сразу его узнал. Впрочем, он мигом забыл об этой встрече, так как мысли о побеге из посёлка занимали гораздо больше. И даже Кира вспоминалась теперь всё реже и реже.

Евдокия Марковна, возвращаясь с работы, едва передвигала ноги от усталости и не слишком интелесовалась, чем они занимались днём, хотя Мишка и Лёха избавили её от множества больших и малых хлопот. Вскоре они научились топить печь и готовить скудный ужин, который зачастую состоял из отварной картошки, политой подсолнечным маслом, квашеной капусты или пары селёдок, а хлеб Евдокия Марковна приносила из столовой, чаще надкусанные куски, но мальчишки не были брезгливыми. Жизнь в детдоме приучила: сегодня ешь что дают, а завтра могут и не дать.

С работой по дому они справлялись легко и быстро, так что хватало времени, чтобы послоняться по посёлку; но тут ударили лютые морозы. Посёлок затянуло сизым маревом, а в тайге с треском лопались деревья, отчего казалось, что в лесу идёт перестрелка. Топить приходилось много, и, чтобы не угореть, мальчишки следили за углями в печке. И только когда исчезало скакавшее по ним синее пламя, задвигали заслонку в трубе.

Евдокия Марковна особо их не хвалила, но и не ругала. Правда, ворчала иногда, что выбегают в уборную раздетыми. Но что тут сказать в оправдание? Из-за холодов терпели до последнего, а затем стремглав летели к убогому строению в конце двора. Вечерами, прижавшись спиной к печному обогревателю, она молча наблюдала, как Лёха и Мишка сновали по кухне, накрывали стол к ужину: вываливали из чутунка в большую миску крупную разваристую картошку с розовыми прожилками, ставили рядом тарелку с капустой, раскладывали вилки... И лишь однажды вздохнула:

— Что бы я без вас делала?

После ужина она снова садилась к обогревателю, латала их бельешко и одежонку и о чём-то тихо вздыхала, в то время как Лёха и Мишка, запинаясь, читали по очереди вслух толстую книжку про детство и юность великого советского писателя Максима Горького. По четвергам втроём при-никали к чёрной тарелке репродуктора и сквозь шум и треск помех с упоением слушали «Театр у микрофона». Мальчишки хохотали над похождениями героев «Свадьбы в Малиновке», а Евдокия Марковна вытирала слёзы после спектакля «Таня». — Вот она какая, Таня Рябинина, — говорила она всякий раз по окончании постановки. — Не сломалась, когда её Герман предал. Бедная, ребёночка потеряла, но не спилась...

Свет в посёлке выключали рано, поэтому спать ложились после спектакля в кромешной темноте. Керосин тётка Евдокия берегла на тот случай, когда электричество гасло по причине аварии, а это случалось довольно часто. Но однажды, после очередного прослушивания «Тани», она зажгла лампу, подошла к комоду, вытащила шкатулку, в которой хранила документы, старые справ-ки, пожелтевшие почётные грамоты, и достала

фотографию — мутную, с едва проступавшими контурами мальчешистого лица. Прижала её к щеке, мелко перекрестила и, повернувшись к Лёхе и Мишке, тихо пояснила:

— Сынок мой, Ванюшка! Сёдни десять годков миновало, как убило его на лесоповале...

И заплакала.

Мальчишки стояли возле неё, не зная, что делать. Они и слов таких не знали, которые могли бы утешить, и предпочли молчать, хотя сердца разрывались от жалости и сострадания.

Евдокия Марковна опустила на скамеечку возле обогрвателя, смахнула слёзы и виновато улыбнулась:

— Чего стоите? Садитесь за стол, я вон блинков из столовой принесла. Чаю попьём, Ванюшку мово помянем, царство ему небесное!

Спать они легли уже за полночь, когда выгорел керосин в лампе. А перед этим Евдокия Марковна достала припрятанную чекушку водки, выпила стопку и неожиданно заговорила, подперев ладонью щёку и уставившись взглядом в чёрный проём окна:

— Мы ведь тоже из спецпереселенцев. С Волги нас пригнали. У мово отца дом большой был и хозяйство справное, но в начале тридцатых, когда страшный голод случился, всё извели. Говорили: засуха мол, недород, — а на самом-то деле хлеба хорошо вызрели, просто солдат пригнали и велели урожай сдать до последнего зерна, под метёлку всё государству вывезли. Деревня наша в колхоз вступила ещё в тридцать первом году, но зерно и муку всё равно отняли, даже на подворьях амбары вычистили. Помню, соседка спела вечером частушку: «В тридцать третьем году всю поели лебеду. Руки, ноги опухали, умирали на ходу», — а ночью забрали её, так и синула где-то. Братишка младший на поле горбу зелёных колосков нарезал. Тоже увезли незнамо куда. Закон тогда суровым был. За пять колосков уже тюрьма. Отец мой — старой веры, упрямый был. В тридцать четвёртом вышел из колхоза: «У меня свой колхоз, — говорит, — четыре сына, невестки, внуки... Дай Бог, прокормимся». А утром пришли энкавэдэ, приказали: собирайте пожитки и — на станцию! Ванятка, помню, спросил: «А куда поедет?» Солдат ответил: «На кудыкину гору, оленей пасти!» Сынок обрадовался, он у меня грамотный был, много книжек читал: «Ура! На Север!» И меня успокаивает: «Там, мама, Северный полюс совсем близко, на собаках можно доехать. Я, может, доберусь, чтоб с героями-полярниками встретиться».

Евдокия Марковна всхлипнула, махнула рукой.

— Девятый годок ему шёл, совсем ещё дурачок был! Здесь ему уже не до полюса стало. Выживали из последних сил. Слава Богу, не довезли нас до оленей...

Она помолчала мгновение и вновь заговорила с тем же отрешённым взглядом, устремлённым в окно:

— Ночью подогнали подводды, погрузили, а скотина вроде спать должна, а тут как принялась орать. Корова дверь в хлеву вынесла и — к нам, петухи голосят, кони ржут... Мы и оставили стайки открытыми... На станции в теплушки затолкали, часть вещей прям возле вагонов побросали. Не позволили много взять. На перевалочном пункте в Красноярске из теплушек выгнали и погрузили на баржу. Неделю по Енисею плыли; когда высадили на берегу, снег уже падал... Шалаши из лапника построили, одеяла подстелили, устроились абы как и стали землянки копать. Сынок у меня ещё один был, младше Ванюшки, от голода и холода помер. А перед смертью всё просил: «Мамка, поехали домой... Там тепло...» К зиме нас в Дивный перевезли за десять километров, тут по баракам да избам расселили. По Енисею уже шуга шла. Муж мой плоты разбирал да багром брёвна на берег таскал. Поскользнулся, в реку упал, да так и ушёл под плот. Не нашли его...

Евдокия Марковна судорожно перевела дыхание. Мальчишки с испугом смотрели на неё, боясь пошевелиться, чтобы неловким движением не прервать горькую исповедь.

— Картошка нас, конечно, спасала, но хлеба не хватало. Многие болели цингой, особенно мужики. Зубы выпадали, из дёсен кровь шла. Одевались и обувались кто во что горазд: лапти плели, ноги тряпками обматывали. Мамка моя всё время мучилась с ногами, так калеккой и померла. Батя ноги отморозил и тоже от гангрены загнулся. А вскорости война началась... Почти всех мужиков сразу отправили на фронт. Остались бабы, старики да дети. На лесоповал пошли пацаны вроде вас. С десяти годков уже гоняли. Ванюшке моему едва пятнадцать исполнилось. Ребятам-то работа была не в новинку, они и раньше помогали взрослым мужикам валить лес. Но доставалось им вдвойне. План валки леса оставили, как взрослым — война ведь. Вот и рубили они лес на делянках до изнеможения, помогали друг другу, как могли. Многих ребятишек в то время убило или покалечило. Чуть зазевался, не увернулся — хлестнёт кедровой веткой либо сучком зацепит. Правда, детям в ту пору платили хорошо, а вот взрослым почти ничего не доставалось. Со спецпоселенцев брали шестьдесят процентов военного налога да ещё спецналог, как с подучётного лица, вот и получали мы копейки. Но терпели и ждали победу как манну небесную. А чего нам оставалось? Куда бежать? Тайга здесь глухая, дорога одна — через Енисей. Уполномоченный НКВД в посёлке за нами присматривал, к нему и отмечаться каждый месяц ходили. Хорошим человеком был, Жарков его фамилия, не злым, пил тока много. Когда Ванюшку моего

деревом убило, он мужиков прислал, чтоб могилу выкопали. А морозы стояли страшные, почитай как сейчас. Три дня землю кострами отогревали. А недавно вот Барая вместо Жаркова поставили, от него жалости не дождёшься. Сейчас, после смерти Сталина, немного хвост прижал, а то сколько слёз из-за него пролили...

Голос её звучал глухо и монотонно, словно не пацанам она рассказывала о своей горькой доле, а самой себе. И останавливалась лишь тогда, когда подливала в стопку новую порцию водки. Но не пьянела, только говорила всё тише и тише, пока не уткнулась лицом в скрещённые на столе руки и не замолчала. Видно, уснула, решили мальчишки и на цыпочках прокрались на свою лежанку.

В тот момент лампа погасла окончательно, и в темноте прозвучало на удивление громко и ясно: — Эх, ребята, ребята! Что с вами делать, ума не приложу! Сегодня эта сволочь Барай ко мне привязался: мол, что за пацаны у тебя объявились? Велел с вами и вашими документами к нему явиться. Видно, кто-то из соседей настучал...

Мальчишки перестали возиться на жёсткой лежанке и замерли от страха. Да и что они могли сказать в ответ?

Евдокия Марковна тяжело вздохнула. Затаившись, мальчишки слушали, как она ворочалась на кровати, что-то бормотала, пока не захрапела с надрывом и присвистом, как храпят пьяные. А Лёха и Мишка, сдвинув головы, принялись обсуждать, как поступить дальше. Ничего путного не придумали, потому что выход предполагался только один: бежать! И бежать немедленно! Иначе пропадут ни за грош, и Евдокии Марковне уж точно не поздоровится. Но даже своим ещё детским умом они понимали, что шансы остаться в живых при таких морозах равнялись нулю...

## Глава 5

*Вербное воскресенье. Отчаянное решение.  
Снова Яшка и капитан Барай...*

Утро в тот день выдалось на удивление солнечным и тёплым. Снег налипал на валенки, кора на деревьях потемнела, заплакали сосульки под крышами. А тёплый ветер принёс запахи, неясные пока, но то были запахи весны — чуть горьковатые и тревожные. Так пахнут молодые сосновые побеги и верба. Пучок красноватых веток с пушистыми и серыми, как беличьи лапки, шишечками накануне принесла Евдокия Марковна и поставила в банку с водой. Перекрестившись на чёрную тарелку репродуктора — за ним скрывалась крохотная икона Божьей Матери, — вздохнула:

— Вербное воскресенье скоро, а там, глядишь, через неделю и Пасха! В церкву бы съездить, в район,

так кто ж с работы отпустит? — и неожиданно улыбнулась: — Ничего, мы как-нибудь и дома управимся. Яиц накрашу, кулич испеку...

Мишка вспомнил о вербе, когда увидел старушку возле крыльца столовой с таким же пучком веток в сухоньком кулаке.

— Глянь! — Лёха торопливо спрятал заочневшие руки в карманы телогрейки — рваной, с торчавшей из дыр грязной ватой. — Вон Яшкин «Студер». Я же говорил, сёдни в район рванёт. За товарами в магазин.

Мишка недоверчиво посмотрел на приятеля. — Яшка за копейку удавится! Ни в жисть не повезёт задаром! Ещё и легавым сдаст...

Тем временем «Студебекер», громыхая пустыми бочками в кузове, остановился напротив столовой. Яшка выглянул из кабины и крикнул мужику, курившему возле крыльца:

— Эй, Петро! Грузи коробки!

Петро рысью направился к складу — деревянной халабуде за столовой. Мальчишки переглянулись и, не сговариваясь, схватились за скобы и махом оказались в кузове под брезентовым тентом. Хватило мгновения, чтобы укрыться за железными бочками. Следом в кузов полетели картонные коробки и деревянные ящики, а также несколько мешков из-под муки — это постарался Петро. Пути назад были отрезаны, и мальчишки, прижавшись друг к другу, затаились, больше всего желая, чтоб Петро не залез в кузов, а Яшка не подобрал других пассажиров. Но «Студер» двинулся с места и покотил по главной улице посёлка, только почему-то не к ледовой переправе.

— Куда он? — прошептал Мишка, хотя за шумом мотора Яков вряд ли расслышал бы его голос.

— Заткнись! — рассердился Лёха. — Закудыкаешь дорогу! Может, за кем заехать решил?

Лёха оказался прав. «Студебекер» остановился возле здания конторы судоверфи и просигналил.

— Ёлки зелёные! — тоскливо выдохнул Лёха. — Смотри!

Они слегка приподняли край брезента и в узкую щель между бортом и тентом увидели, что из конторы вышел уполномоченный Барай с толстым кожаным портфелем в руках. Яшка выскочил из кабины и с угодливой улыбкой открыл дверцу кабины со стороны пассажирского сиденья: — Будьте ласка, гражданин начальник! Домчим с ветерком!

Барай что-то пробурчал в ответ. Хлопнула дверца кабины. Мальчишки облегчённо вздохнули. И тут же едва не описались от страха, заметив чьи-то руки, схватившиеся за край заднего борта. На фоне светлого проёма лица они не разглядели. И забились в угол, больше всего желая раствориться, провалиться сквозь землю, растаять — словом, исчезнуть незаметно и бесследно куда бы то ни

было, потому что человек был в шинели. А в их короткой жизни всё самое страшное было связано с людьми в шинелях.

Но новоявленный пассажир, похоже, тоже попал в машину без ведома Яшки. Хватаясь за борт, он направился к кабине и, обогнув вонявшие керосином бочки, едва не свалился на головы пацанов.

— Твою мать! — вскрикнул он испуганно и отшатнулся назад.

— Колька! — обрадовались пацаны. — Ты, что ли? — Я, — буркнул Колька. — Напугали до смерти!

Подстелив под себя пару мешков, он устроился рядом с неожиданными попутчиками.

— В район едешь? — поинтересовался Лёха.

Колька смерил пацанов угрюмым взглядом. Под глазом у него отсвечивал большой фингал. — В район, — нехотя сообщил он. — А вы куда лыжи навестили? От тётки сбегли?

Машину тряхнуло, пустая тара сместилась к кабине. Чтобы не придавило, бочки пришлось удерживать руками и ногами, так что было не до ответов.

Но тут «Студебекер» миновал крутой спуск, выехал на лёд, и бочки повели себя спокойнее.

— А я сбежал, — Колька шмыгнул носом. — Отбучал одну крысу, чтоб по тумбочкам не шарил, а он — стукачок, донёс директору. А тот, гад, поддал мне крепко да ещё грозил на зону отправить. Мне это надо? Я ведь тумбочки не шмонал, чужие письма не читал и сало, что из дома прислали, под одеялом не жрал...

Он помолчал мгновение и мечтательно прозвонил:

— В Одессу поеду! Мастер наш там на флоте служил. Говорит, тепло, еды много, и море кругом, синее-синее. Наймусь на корабль матросом, а мамке фотку вышлю: бескозырка, тельняшка, штаны-клёш! Красота!

— Я тоже в Одессу хочу, — вздохнул Лёха. — Помните, как Марк Бернес пел?

И почти беззвучно затянул:

Шаланды, полные кефали,  
В Одессу Костя приводил,  
И все биндюжники вставали,  
Когда в пивную он входил...

Колька хлопнул себя по колену и тихонько подхватил:

Я вам не скажу за всю Одессу,  
Вся Одесса очень велика...

К ним присоединился Мишка, и уже троём они допели припев:

Но и Молдаванка, и Пересыпь  
Обожают Костю-морьяка...

Тут бочки с грохотом покатались к заднему борту.

— Всё! Кажись, Енисей перевалили! — прошептал Колька. — На берег въезжаем! Теперь без остановки помчим до самого района!

## Глава 6

*Смерть над яром. Старинная фотография. Ни шанса на спасение*

«Студебекер» мчался по накатанной лесовозами дороге сквозь глухую черневую тайгу. Мальчишки молчали и жались друг к другу. Ветер проникал сквозь щели кузова, пробирался под тент, а усилившийся мороз — сквозь худую одежку. Тут уж было не до разговоров, тем более не до пения. Они скрючились в три погибели, но согреться не получалось.

Колька покосился на них, а затем подтянул с пола несколько мешков и набросил на посиневших пацанов. Стало чуть теплее — мешки защищали от ветра, но мальчишки всё равно стучали зубами от холода. — Д-долго ещё? — не выдержал Лёха. — А то околеем совсем!

Колька пожал плечами:

— В январе ездили в район на соревнования, за два часа домчались. Правда, из заносов долго выбирались...

И не договорил.

Мотор зафырчал, «Студебекер» выстрелил выхлопными газами и остановился.

— Чёрт! — выругался Колька. — Что там? — и приподнял край брезентового тента.

Втроём они припали к узкой щели. Ветер гнал позёмку по дороге, с обеих сторон её обступали огромные заснеженные ели. Автомобиль остановился на краю высокого яра. Внизу сквозь редкие ёлки и бурелом едва угадывалась речушка, чьи берега густо заросли красноталом.

Яшка открыл дверцу, спрыгнул с подножки и направился к капоту.

— Что случилось? — из кабины показался Барай.

Он, несомненно, очень дорожил портфелем, потому что прихватил его с собою.

Яшка сплюнул в снег.

— Подача топлива барахлит, чёрт бы ею пообедал. Малька усилий, и заработает, как ваши часы «Победа».

— А если не наладишь, тогда что? Пешком добираться? До района, считай, ещё километров десять?

— Да вроде того! — бодро ответил Яшка и, подняв крышку капота, добавил: — Не бойсь, гражданин начальник! Всё чин чинарём!

— Долго это? — недовольно спросил Барай.

— Минут пять-десять. Идите пока погуляйте.

— Хорошо сказать — погуляйте! — проворчал Барай. — Вон какой ветрище! Живо уши отморозишь!

Он приподнял ворготник полушубка, присел на подножку и, не спуская портфеля с колен, достал из кармана пачку папирос, закурил.

— Вы бы осторожнее, гражданин начальник! — Яшка выглянул из-под крышки капота. — Пары бензина, то, сё... Взорвёмся к ежовой маме!

— Не взорвёмся! — отрезал чекист, но всё-таки встал и отошёл в сторону.

Продолжая курить, прошёлся взад-вперёд по дороге и нетерпеливо спросил:

— Чего возишься? Не мог раньше проверить насос?

— Так проверял, — раздалось из-под капота. — Тока машинка американская, к нашим морозам не приучена...

— Вот попали, — прошептал Колька. — Ещё немного — и окачуримся.

Мальчишки промолчали, потому что и без того не попал зуб на зуб от холода.

Резкий треск снаружи заставил их насторожиться. Колька прильнул к щели и испуганно выдохнул:

— Глянь! Легавый на мотоцикле!

И правда, из-за поворота вынырнул мотоцикл с коляской, на котором восседал уса́тый милиционер в чёрной шинели с двумя рядами латунных пуговиц, перетянутой крест-накрест портупеей. Он притормозил возле машины, заглушил мотор и поинтересовался:

— Поломался? Может, помочь?

— Ничего, справлюсь! — показал чумазое лицо Яшка. — Делов-то!

— Ну смотри! — сказал милиционер и сбил на затылок чёрную цигейковую кубанку.

Придерживая кобуру рукой, он рысцой направился к Бараю и поднёс ладонь к виску:

— Сержант милиции Смирнов. Позвольте поинтересоваться, товарищ капитан: в район следуете? — Следую. И что с того? — буркнул Барай. — Вам-то какое дело, сержант? Езжайте куда ехали! — и смерил милиционера хмурым взглядом. — Что-то я тебя не припоминаю...

— Так я недавно из Енисейска перевёлся, — бодро ответил сержант. — По семейным обстоятельствам.

Мальчишки, которые видели только спину милиционера, напряжённо прислушивались.

— Если что, сигаем с правого борта — и в обрыв, — одними губами прошептал Колька. — По снегу они не станут колготиться, а стрелять тоже не с руки. Мы ведь не урки какие...

— Не полезет он в машину, — сказал Лёха. — Чё ему тут искать? При Барае не насмелится.

Милиционер снова вскинул ладонь к виску:

— Разрешите следовать дальше?

— Постой, — Барай уставился на него, раздумывая, затем спросил: — Подбросишь до района?

— В чём вопрос? — обрадовался милиционер. — Меньше чем за полчаса управимся. У меня в коляске тулупчик есть. Укутаю, не замёрзнете.

— Ладно, пошли! — Барай направился к мотоциклу.

Милиционер, придерживая кобуру, резво заструил следом.

Мальчишки наблюдали за их передвижением, всё ещё не веря, что два самых страшных для них человека вот-вот уберутся восвояси. Яшка, обтирая грязные руки ветошью, облокотился на высокое крыло грузовика и с кривой ухмылкой наблюдал за обоими, но помалкивал.

— Когда загрузишься, заедешь в отдел! — крикнул ему Барай.

Яшка отсалютовал двумя пальцами:

— Как прикажешь, гражданин начальник!

Милиционер взгромоздился на сиденье, а чекист занёс было одну ногу в коляску и вдруг замер, стоя другой на снегу.

— Эй, сержант! — голос его прозвучал сердито и удивлённо одновременно. — С чего вдруг у тебя вохровские погоны?

— Погоны? — лапнул себя за плечо милиционер и вдруг вытянул руку и радостно закричал: — Смотри, смотри, лиса бежит!

Барай бестолково завертел головой, а милиционер продолжал кричать:

— Да не крутись ты! Дальше, вон! Левее пригорка, смотри!

— Какая лиса?

Барай ступил на дорогу второй ногой. В тот же момент сержант выхватил из-за пазухи толстый железный прут и наотмашь ударил чекиста по голове. Тот, не издав ни звука, свалился под колёса.

Портфель выпал из рук и, как салазки, откатился к противоположному краю дороги.

— Ничего себе! — прошептал побелевшими губами Колька. — Тикать надо!

— Куда? — прошипел Лёха и толкнул его в плечо. — Сиди уже! Заметят!

Затаившись, мальчишки наблюдали, как милиционер торопливо расстегнул на груди убитого полушубок и вытащил, видно, какие-то документы и красную книжечку — удостоверение, затем отстегнул кобуру от портупеей, проверил наличие пистолета и всё это добро затолкал себе за пазуху. Потом подхватил Барая под мышки и, оставляя узкий кровавый след на снегу, потащил тело чекиста к машине.

Яшка, скомкав в руках ветошь, с ошалелым видом наблюдал за ним.

— Чего пялишься? — прикрикнул милиционер. — Того гляди, кто мимо поедет! Помогай, живо! Чего заробел?

— А по-другому не могли придумать? — Яшка, видно, пришёл в себя. — Говорили, что в тайге закопаете!

— Лезь в кабину! За ворот тяни! — орал милиционер, подпихивая тело снизу.

Вдвоём они едва запихнули убитого в кабину. Милиционер захлопнул дверцу и торопливо обтёр руки снегом. Затем обежал машину и снова заорал, когда Яшка выбрался наружу:

— Куда? Солярки плесни! Или чего там? Бензин? Давай лей!

— Как же так? — растерянно лопотал Яшка, доставая из кабины небольшую канистру. — «Студер» мой жесть? Шо удумали, босяки! Шоб я? Своими руками?

— Тебе чё, жить надоело? — милиционер грубо толкнул его в грудь. — Всё на мази, прокурор не подкопается. Тебя выбросило взрывом, ему не повезло. Всё? Лей, говорю! Чтоб полыхнуло так полыхнуло! Быстрее! Времечко жмёт.

Яшка плеснул в кабину, затем, выругавшись, облил кузов.

— Зажигай! — орал милиционер. — Нет! Стой! Чё там такое?

— Где? — Яшка уставился на него. — Едет кто?

— Где-где — в Караганде! — рявкнул сержант. — Вон, под колесом! Чё ещё за хреновина?

— Под колесом?

Яшка в недоумении наклонился и заглянул под машину — и тут же получил по затылку тем самым прутом, которым милиционер прикончил Барая. И так же молча упал в снег.

Беглецы, бледные от страха, переглянулись. В тот момент, когда милиционер, матерясь, заталкивал Яшку в кабину, они бросились к заднему борту и спрыгнули в снег. Колька и Лёха удачно, а Мишке не повезло. В ноге что-то хрустнуло, она подвернулась, и он ткнулся лицом в сугроб. Дикая боль пронзила тело, но сдержался, не заорал. Пацаны подхватили его под руки и так, втроём, скатились в яр, в самый бурелом. Слёзы заливали лицо, Мишка скрипел зубами, но заорать сейчас — значило принять верную смерть. Они уже поняли, что убийце свидетели не нужны.

Спрятавшись за толстым выворотнем, беглецы наблюдали, что происходило наверху, но «Студебекер» загоразивал обзор, и видели они мало. Убийца, похоже, крутился поблизости, потому что треска мотоцикла они тоже не слышали. Милиционер и впрямь скоро показался. В руках он держал раскрытый портфель Барая и на ходу что-то искал в нём. Наконец вытащил мешочек из серого холста, наполненный чем-то тяжёлым, взвесил его на ладони и с довольным видом тоже затолкал за пазуху. Затем кинул портфель в кузов. От броска тот снова открылся. Выпала толстая тетрадь в клеёнчатой обложке, посыпались какие-то бумажки, которые тотчас подхватили ветер и разметало по склону, запутал в кустах тальника. Тетрадь скользнула вниз и застряла в сугробе.

Милиционер попытался достать её палкой — не получилось. Тогда, хватаясь за ветки, решил дотянуться, но поскользнулся, упал на спину и едва не скатился в обрыв. С проклятиями он поднялся к «Студебекеру», оглянулся. Махнул рукой, с трудом — спички гасли на ветру — запалил ветошь и бросил горящий комок в кабину.

— Счас жажнет! — ахнул Колька, и мальчишки вжались в снег, прикрыв головы руками.

И, вправду жахнуло так, что в небо взлетели бочки, обломки досок и железяк, а «Студер» вмиг превратился в огромный костёр. Горящие бочки разметало по дороге. Одна свалилась в яр и зачавдила, растопив вокруг себя снег. Мишку трясло от страха, Колька матерился сквозь зубы, а Лёха подвывал тихонько:

— О Боженька, если ты есть на небе, спаси и сохрани! Пожалей, Ты ведь всё можешь!

Завеса из огня и чёрного дыма металась на краю обрыва. Пламя с остервенением пожирало тент, кабину, деревянные борта, ящики и коробки. Оно трещало, гудело, заглушая прочие звуки. Жирные хлопья сажи усеяли снег. Горячие головешки с шипением вонзались в сугробы. Один из углей прожёт Мишкину фуфайку, другой приземлился Кольке на плечо. Противно повеяло палёной шерстью.

Наконец огонь опал, лишь на железном скелете «Студебекера» плясали оранжевые сполохи, дымили почти сторевшие покрышки, а в кабине горела низким синим пламенем чёрная масса с торчавшим вверх, точно сухие ветки, тем, что недавно было человеческими руками. Но мальчишки старались в сторону кабины не смотреть. — Чи уехал, чи нет? — с трудом прошептал Лёха. — А чё ему тут околачиваться? — бросил Колька. — Ждать, когда настоящие менты привалят? Смылся сразу, как «Студер» вспыхнул. Не слышали, как мотоцикл заводил? Тр-р! Тр-р!

Пацаны, потрясённые случившимся, окоченевшие от холода, а Мишка ещё и с покалеченной ногой, кроме гудения огня, ничего не слышали, но облегчённо перевели дух. Мишка от счастья, что остался жив, забыл даже о ноге, но, повернувшись, вскрикнул от боли и заметил кровавое пятно на снегу. Штанина смёрзлась, и оттого стало ещё больнее.

Он виновато улыбнулся:

— Кажись, ногу сломал!

— Вот не было печали! — насутился Колька и потянулся к ноге.

— Не трожь! — вскрикнул Мишка и попытался подняться, но повалился в снег и, уже не скрываясь, заплакал.

Пацаны снова подхватили его под руки и с трудом, но вытянули на дорогу. Попутно Колька подобрал из сугроба тетрадь — ту самую, что выпала из портфеля Барая и которую неудачно пытался достать убийца чекиста. Обложка её изрядно обгорела.

— Уходить надо, — Колька с угрюмым видом посмотрел на Лёху. — Стемнеет скоро! Говорят, тут волки ночами балуют!..

— Не смогу я идти! — всхлипнул Мишка. — Давайте без меня! А то всех повяжут. Скажут, что это мы...

их... — и махнул рукой в сторону догоравшей машины.

— Замерзнешь, — скривился Лёха.

— Ничего, выдюжу! — попытался улыбнуться Мишка. — Тут пока тепло, а потом авось кто-нибудь мимо проедет.

— Пацан дело говорит, уходить надо. И быстрее, пока не застучали. Как только прознают, что чекиста грохнули, такой шмон объявят — мама не горюй! — Колька кивнул на Мишку. — Авось пацан выкрутится, — и бросил ему на колени тетрадь и коробок спичек. — На вот! Будешь жечь, если не вмоготу станет.

Тетрадь раскрылась, и из неё выпали две карточки. На одной — фотография девушки в чёрном платье и белом фартуке, на второй — картинка с целующейся парочкой, пухлым сердечком и надписью: «Люби меня, как я тебя!» Сама же тетрадь была исписана мелким красивым почерком и заполнена чертежами, чем-то похожими на карты в учебнике географии, но утыканные цифрами, как ёжик иголками...

Колька затолкал карточку с парочкой в карман шинели и усмехнулся:

— Хорош трофеей, а?

Лёха взял фотографию и покосился на Мишку:

— Глянь, Кирка Правоторова! Точь-в-точь!

Со снимка и впрямь смотрела девушка, очень похожая на Киру, только волосы у детдомовской подружки были русыми, а у той, на фото, — тёмными. И выглядела она лет этак на восемнадцать. — Дай мне! — прошептал Мишка и потянулся к фотографии.

Но Колька отвёл его руку.

— На кой тебе? А Лёхе сгодится...

На что Лёхе сгодится фотография, Мишка не понял. Но спорить не стал. Не было сил даже говорить.

Перед уходом пацаны подтянули его ближе к машине и, не оглядываясь, быстрым шагом направились в сторону районного центра. Сильно воняло горелым металлом и страшно — жжёным мясом. Поднявшаяся метель быстро занесла все следы и затушила огонь. Мишку тошнило и тянуло в сон. Нога словно окаменела и уже не болела. Стараясь спасти остатки тепла, он обхватил себя руками, закрыл глаза и приготовился умирать...